

Достоевский и явление “подпольного” человека¹

С.А. НИКОЛЬСКИЙ

Уже одни слова Достоевского о том, что “подпольный” человек есть “настоящий человек *русского большинства*” должны были бы определить пристальный интерес к этому феномену со стороны гуманитарной мысли. Однако до настоящего времени явление это не оказывалось в сфере исследовательского интереса, соразмерного его масштабу. В меру сил восполнить этот пробел, привлекая часть творческого наследия писателя, ставится цель в настоящей статье.

Humanitarian thought must have already paid great attention to the phenomenon, defined by Fyodor Dostoevsky in his words that the “underground man” is “the real man of the Russian majority”. However, up to date this phenomenon was not involved into the sphere of research interest, proportional to its scale. The goal of the current article is to make up this deficiency, using a part of creative heritage of the writer.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: философия, литература, человек, общество, христианство, “подполье”, мораль, любовь

KEY WORDS: philosophy, literature, man, society, Christianity, “underground”, morals, love.

Жизнь и творения Достоевского могут служить объяснительным фрагментом той катастрофы, которая разразилась в России в начале XX столетия. Остро ощущая ее приближение, мыслитель откликнулся на нее тем, что во многих художественных типах исследовал в человеке духовно ущербное. Ему, очевидно, казалось, что выведение его наружу позволит лучше понять его и преодолеть. Персонажи становились реальной частью действительности, нарушая законы материального бытия, сходили с книжных страниц и обретали жизнь в человеческих личностях. В случае Достоевского воистину “вначале было слово”. Слово изощренное, проникновенное и пронизывающее, часто слово большое. Сам писатель называл это “предвидением”².

Об одном из изобретенных им героев – “подпольном человеке” – Ф.М. сообщал едва ли не с гордостью: “Подпольный человек есть главный человек в русском мире. Всех более писателей говорил о нем я, хотя говорили и другие, ибо не могли не заметить” [Громова 2000, 87]. Сущность и историческое место этой “подпольной” субстанции, как свидетельствует Ф.А. Степун, точно угадал Н.А. Бердяев, говоря, что большевизм “есть

не что иное, как смесь подсознательного извращенного апокалипсиса с нигилистическим бунтарством” [Степун 2000, 509].

Отчего Достоевский полагал “подпольного” человека главным человеком в русском мире? Ведь болезнь и прямое указание на вырождение, которое обозначается разными вариациями этого персонажа, никак не обещают радостного завтра. Ответ следует начинать искать в личности самого писателя. Подобно разночинным хожденцам в народ из тургеневской “Нови”, карликам и мужеподобным барышнями, в том числе, Ф.М. с самого рождения также был человеком “ущемленным”. Унижен и уязвлен он был скандалами, постоянно сопровождавшими жизнь его родителей³, агрессивной обстановкой учебного класса, состоявшего на треть из поляков, а еще на треть из немцев. Не добавили душевного спокойствия беспорядочная жизнь в период учебы в Инженерном училище⁴ и мечты о будущем величии. Обухом по голове стал арест всего лишь за произнесенные в кругу товарищей неосторожные слова⁵. Он, кажется, навсегда был оглушен объявленным и тут же (как в насмешку) отмененным смертным приговором (было ему 27 лет), ссылкой, солдатской лямкой, неудачной первой женитьбой и последовавшей тягостной семейной жизнью⁶. Его снедала разрушающая человеческое достоинство и самую личность страсть к азартной игре, неизбывная зависть к литературным “барам” Тургеневу и Толстому, в то время как он был обречен еженощно за письменным столом отбывать литературную барщину, средств от которой хватало лишь на кусок хлеба. И так всю жизнь.

Гениальный творец, он не просто “расширил” восприятие русского мира, но, по словам Бердяева, “сменил ткань души”. “Души, пережившие Достоевского, ...пронизываются апокалиптическими токами, в них совершается переход от душевной середины к окраинам души, к полюсам” [Бердяев 2006, 180]. Но от “полюсов” нельзя ждать нормальности – условия здорового развития общества и человека. А Достоевский – открыватель и создатель “полюсов”, в своем творчестве границ не признавал. Это, в частности, отмечал Мережковский, когда прямо писал: “Самый необычайный из всех типов русской интеллигенции – человек из подполья, с губами, искривленными как будто вечною судорогою злости, с глазами, полными любви новой, еще неведомой миру... с тяжелым взором эпилептика, бывший петрашевец и каторжник, будущая противоестественная помесь реакционера с террористом, полубесноватый, полусвятой, Федор Михайлович Достоевский” [Мережковский 1914, 24]. Эту оценку создателя “нового” человека разделял и Лев Шестов, полагавший, что Европа признала Достоевского не столько как художника, сколько как апостола “подпольных” идей [Шестов 2001, 51].

Проза Достоевского с точки зрения исследования на ее материале проблематики русского мировоззрения трудна и имеет ряд особенностей. Во-первых, изображаемые писателем герои практически лишены тех связей с миром, на которых из него всегда акцентировала внимание русская классика. Персонажи автора “Униженных и оскорбленных”, живущие, за редким исключением, только в городах, не подозревают (в отличие от героев Пушкина, Гоголя, Гончарова или Толстого) о возможных глубинных связях человека с природным миром – лесом, степью, рекой, садом. Они, кажется, никогда не поднимают голову и потому не подозревают существования неба. Даже деревья для них закрыты заборами и домами. У них (в противоположность героям Соллогуба, Григоровича и Аксакова) нет забот о согласовании своих взглядов, привычек и способов жить с заветами и традициями предков: часто они люди почти безродные. Тем более вслед за героями Тургенева, они не мечтают о краях, куда “кулички летят”, не боятся домовых (часто – напротив, с нечистью общаются), не размышляют о смерти как жизни в ином мире и не заботятся о том, как умереть спокойно и достойно. Герои Достоевского почти никогда не имеют отношения к тому, что я, в частности, в связи с разбором романной прозы И.С. Тургенева, назвал “позитивное дело”. Дела персонажей Ф.М., даже когда они заняты “службой” или “уроками”, вряд ли можно называть конструктивными и созидательными. Персонажи Достоевского внутренне глубоко противоречивы, “pro” и “contra” в них постоянно конфликтуют между собой, а само состояние конфликта и есть их настоящая жизнь.

Значительное место в произведениях Достоевского занимают так называемые “идеальные” (от слова “идея”) художественные типы, то есть сочиненные писателем для ма-

териализации любимой мысли. И это – “четвертое” измерение, добавляемое писателем к действительности, которым он хочет наделить и наделяет ее. Кстати, от этих типов исходит та духовная аура, то долженствующее морализаторство, которое, наряду с миазмами из подполья, формирует читательское мировоззрение, делает его, по определению Бердяева, “катастрофическим”. При этом, если у Толстого (не менее активно практикующего творца идей, но идей морализаторских) мы находим только отдельные попытки идейного “преобразования” действительности посредством насаждения в нее таких идеальных типов как Платон Каратаев или Константин Левин, то у Достоевского это действие возводится в один из основных принципов творчества, превращается в систему.

И, наконец, последнее замечание, связанное с той ролью, которая отводится Ф.М. Достоевскому в культуре России. Сложилось так, что когда говорят о литературной сфере, то сразу называют имена Достоевского и Толстого. К примеру, известный российский исследователь Б.В. Соколов пишет: “Федор Михайлович Достоевский – не просто один из величайших русских писателей. Это тот человек, по произведениям которого весь мир судит о России, о таинственной русской душе” [Соколов 2007, 5]. Но можно ли отождествлять русскую душу с тем, что в ней обнаружил или что ей приписал Достоевский? Во многом это наблюдение, к счастью, не верно. Этой бытующей традиции способствует и разработанность в отечественной гуманитарной мысли прежде всего религиозной составляющей творчества Достоевского, равно как и “народопоклонства” Льва Толстого. Очевидно, что в отечественной философствующей литературе есть множество иных, не менее значимых вопросов и магистральных тем. Мировоззренческие системы Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Гончарова, Салтыкова-Щедрина и Лескова с точки зрения философии важны не менее, чем размышления Достоевского или Толстого, составляющие гигантское, все еще мало исследованное мыслительное пространство. Вот почему, не только ради перемены мнения о нас других народов, но прежде всего для нашей собственной пользы нам еще предстоит преодолеть этот устоявшийся в сознании, но искажающий реальность центризм. Интерпретируя известную политическую формулу, пришло время подумать о расширении фактически сложившегося в нашей культуре “двуполярного” понимания российского литературно-философского мира до “многополярного”.

Термином “подпольный” человек Ф.М. принимает и утверждает собственное самоназвание, фиксирует свое отношение к миру, положение в нем. Без этого он никогда не сумел бы в столь детальных подробностях представить читателю сознание своих “подпольных” героев. “Только я один вывел трагизм подполья, состоящий в страдании, в самоказни, в сознании лучшего и в невозможности достичь его и, главное, в ярком убеждении этих несчастных, что и все таковы, а стало быть, не стоит и исправляться! ...Я горжусь, что впервые вывел настоящего человека *русского большинства* и впервые разоблачил его уродливую и трагическую сторону” [Достоевский 1976 XVI, 329].

Говоря о “подполье” как глубинах сознания и подсознания “русского большинства”, я тем самым вступаю в противоречие с той имеющейся в отечественном литературоведении традицией, согласно которой герой “подполья” – это всего лишь “книжник”, “мечтатель”, “лишний человек”, утративший связь с народом и осужденный за это автором-шестидесятником, стоящим на “почвеннических” позициях. “Создавая “подпольного” героя, – пишет автор примечаний к V тому Е.И. Кийко, – Достоевский имел в виду показать самосознание представителей одной из разновидностей “лишних людей” в новых исторических условиях” [Достоевский 1973 V, 376]. “...Герой подполья воплощает в себе конечные результаты “оторванности от почвы”, как она рисовалась Достоевскому” [Достоевский 1973 V, 378].

“Записки из подполья”, которые вначале симптоматично и точно именовались “Исповедь”, как и рассказ “Крокодил”, имели в литературе конкретный предмет для своего обращения. По общему признанию историков и критиков литературы, им был вышедший годом ранее роман Н.Г. Чернышевского “Что делать?”⁷. В “Крокодиле”, как и в “Записках”, главный герой тоже размещается автором вне божьего мира. Как помним, попав внутрь крокодила, чиновник Иван Матвеевич начинает общаться с окружающей

действительностью из этого органического “подполья” так же, как общаются с миром и герои Чернышевского: посредством теорий, проектов, снов. Герой рассказа весь во власти реформаторского пыла “...Только теперь могу на досуге мечтать об улучшении судьбы всего человечества. Из крокодила выйдет теперь правда и свет. Несомненно изобрету новую собственную теорию новых экономических отношений и буду гордиться ею – чего доселе не мог за недосугом по службе и в пошлых развлечениях света. Опровергну все и буду новый Фурье ...Я изобрету теперь целую социальную систему, и – ты не поверишь – как это легко! Стоит только уединиться куда-нибудь подальше в угол или хоть попасть в крокодила, закрыть глаза, и тотчас же изобретешь целый рай для всего человечества...” [Достоевский 1973 V, 194–197]. Как мы помним, автор теории “разумного эгоизма” также был всерьез убежден в том, что беды человечества, равно как и далекие от благодати отношения людей, пока еще не живущих в хрустальных дворцах, имеют причиной непонимание ими своей выгоды от следования принципам справедливости и добра. Ответ исходит от героя “подполья”: “О, скажите, кто это первый объявил, кто первый провозгласил, что человек потому только делает пакости, что не знает настоящих своих интересов; а что если б его просветить, открыть ему глаза на его настоящие, нормальные интересы, то человек тотчас же перестал бы делать пакости, тотчас же стал бы добрым и благородным, потому что, будучи просвещенным и понимая настоящие свои выгоды, именно увидел бы в добре собственную свою выгоду, а известно, что ни один человек не может действовать зазнамо против собственных своих выгод, следственно, так сказать, по необходимости стал бы делать добро? ...Но ведь вот что удивительно: отчего это так происходит, что все эти статистики, мудрецы и любители рода человеческого, при исчислении человеческих выгод, постоянно одну выгоду пропускают? ...Свое собственное, вольное и свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумасшествия, – вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. ...Человеку надо – одного только самостоятельного хотенья, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела” [Достоевский 1973 V, 110–113].

Затаянный с Чернышевским спор Достоевский продолжает, рисуя человека из “подполья” не только в размышлениях, но и в поступках. Во-первых, “подпольный” человек отклоняет все позитивное, идущее с Запада. “У нас, русских, вообще говоря, никогда не было глупых надзвездных немецких и особенно французских романтиков, на которых ничего не действует, хоть земля под ними трещи, хоть погибай вся Франция на баррикадах, – они все те же, даже для приличия не изменятся, и все будут петь свои надзвездные песни, так сказать, по гроб своей жизни, потому что они дураки. У нас же, в русской земле, нет дураков...”. Наши широкие натуры “даже при самом последнем падении никогда не теряют своего идеала; и хоть и пальцем не пошевелят для идеала-то, хоть разбойники и воры отъявленные, а все-таки до слез свой первоначальный идеал уважают и необыкновенно в душе честны. Да-с, только между нами самый отъявленный подлец может быть совершенно и даже возвышенно честен в душе, в то же время несколько не переставая быть подлецом” [Достоевский 1973 V, 126–127].

Обобщающая характеристика “русских романтиков”, это, пожалуй, в то же время и одна из характеристик человека из “подполья”. Вот история героя “Записок”, случившаяся с ним и его школьными товарищами. Не любили они его, а он их. Так нет же! Однажды, не выдержав одиночества, “подпольный” герой отправляется к одному из них и застаёт разом всю компанию, которая договаривается об устройстве обеда. Неприязненно встретили они гостя, а он, тем не менее, на их обед напросился. Что движет героем “подполья”? Не простой вопрос. Но подход к его разрешению уже намечен в романе “Игрок”. Там герой надеется с помощью рулетки решить все проблемы сразу, махом: всего лишь один оборот колеса – и все изменится. “Я завтра могу из мертвых воскреснуть и вновь начать жить! Человека могу обрести в себе...” [Достоевский 1973 V, 311]. И в “Записках” – та же ключевая фраза: “Мне показалось, что вдруг и так неожиданно предложить себя будет даже очень красиво, и они все будут разом побеждены и посмотрят на меня с уважением”.

Разумеется, “школьные товарищи” и “подпольный” человек провели вечер в атмосфере взаимной неприязни.

Следующий поступок героя еще более показателен. Как помним, вслед за “товарищами” герой устремляется в публичный дом, но не застаёт их там, а вместо этого знакомится с проституткой Лизой. Разговор начинается с выпытывания Лизиного прошлого. Но очень скоро в “подпольном” человеке проснулось желание возвыситься над Лизой посредством ее принижения (вообще – возвышение не собственным возвышением, а принижением другого – излюбленный способ “подпольных” людей – в самом деле, как утверждает Ф.М., русского большинства?” – С.Н.), для чего имитирует понимание и сострадание, чтоб ударить сильнее.

Заявленная в “Записках из подполья” тема “подпольного” человека, органично продолжается в романах “Преступление и наказание”, “Идиот”, “Бесы” и “Братья Карамазовы”. Моя гипотеза состоит в том, что в названных произведениях, так же как и в шеститомной романной эпопее И.С. Тургенева, читатель может наблюдать разные стадии развития и формы жизненного воплощения центрального героя Достоевского – “подпольного” человека. В “Записках из подполья” герой прямо заявляет о себе как о новом, возможно, центральном, с точки зрения Ф.М., лице русской жизни, однако его переход от мыслей к поступкам, “материализация” его слов в действия пока были слишком незначительны. Герой “Записок” был своего рода традиционным героем-идеологом. Иное, несравненно более серьезное его воздействие на мир случается позже. Так, в “Преступлении и наказании”, “подпольный” человек Раскольников решительно материализует – выводит на свет и реализует темные начала своего разума.

Делая еще одно наблюдение о природе “подпольного” человека, отмечу, что в нем собрано все самое низкое, что, как полагает Достоевский, присуще человеку XIX столетия. И в этом смысле этот обнаруженный в России тип не только национален, но всечеловечен⁸. Вместе с тем “подпольный” человек – это и отражение существующего широкого петербургского социального слоя, собирательный образ “новых” людей города семинаристов и канцеляристов, самого “отвлеченного и умышленного”⁹. Таков, без сомнения, студент Раскольников, таковы многие персонажи романов, вышедших позднее. Что же объединяет “подпольных” людей и позволяет говорить о них как об особом культурном и метафизическом типе? Обратимся к роману “Преступление и наказание”.

С самого его начала обнаруживается, что Раскольников – духовный “родственник” героя “Игрока”. Разрушить логику не удовлетворяющей его жизни не “постепенством” дел (на чем стоят умеренные либералы – герои Тургенева), а одним рывком, “показав судьбе язык” – его цель. Скоро, однако, оказывается, что “подпольные” люди не только отдельные личности или социальный тип, но вообще часть практически любого человека, стоит лишь покопаться поглубже. Какая-то “степень давления нравственных атмосфер”, полагает Достоевский, позволит докопаться до самого низменного в любом.

Раскольникова с его “подпольной” идеей в романе предваряет фигура Мармеладова, которая выполняет двоякую роль в конструировании образа центрального героя. Во-первых, своими откровениями и житейскими наблюдениями он помогает нам создать более глубокое представление и об образе бывшего студента. И, во-вторых, знакомит нас с тем, что намерен совершить Раскольников, поскольку сам Мармеладов в известном смысле нечто похожее над близкими совершает каждодневно. Вот почему при сравнении персонажей возникает вопрос: не в этом ли кроется и одна из причин сочувствия, которое Раскольников к пьянице испытывает?

Не только мыслями, но и своей манерой вести беседу Мармеладов задает то концептуальное основание, на котором в дальнейшем строит свое самооправдание Раскольников. Так, на вопрос хозяина трактира, “почему Мармеладов не служит” (иными словами, “почему живет так, как живет”), отвечает: “А разве сердце у меня не болит о том, что я пресмыкаюсь втуне?” Замечу, что и Раскольников в “обоснование” убийства старухи ставит проверку своей “особости”, в том числе – и выяснение, поместится ли эта “идея”

в его сознании и будет ли болеть у него сердце? Но только если Мармеладов основанием избирает чувство, то Раскольников – и чувство, и идею. Очевидно, что у обоих “подпольных” персонажей, равно как и у “подпольных” людей вообще, действие, произошедшее и произведенное на основе чего-то темного имеет только один источник и “оправдание” в их собственных глазах – его (этого темного) желанность и естественность для них самих. При этом другие люди вообще во внимание не принимаются. И сравнивая Раскольникова с Мармеладовым, можно было бы заключить, что Родион Романович, пожалуй, и меньший злодей, чем Семен Захарыч: он чужих людей убил и притом сразу, а Мармеладов убивает своих и многократно.

“Подпольные” весьма неохотно соглашаются принять содеянное ими над другими людьми зло на свой собственный счет. Весь роман Раскольников страдает от того, что “принципа не выдержал”, не “оказался Наполеоном”. Ни разу, за исключением авторского финала, мы не слышим от него раскаяния в том, что он отнял чужие жизни. Да и само повествование о его так называемом раскаянии ведется Достоевским в “Эпilogue” – кратком конспективном пересказе завершающей части истории¹⁰.

Избегают “подпольные” прямых нелицеприятных суждений в отношении себя самих. И вряд ли ошибкой будет предположить, что эта их боязнь от того, что за такого рода прямотой для них неминуемо последовал бы вопрос: зачем же свое грязное и темное на свет тащите, сообразно с ним поступаете и других в “выжженный след” превращаете? О своих деяниях Мармеладов говорит Раскольникову “с каким-то напускным лукавством и выделанным нахальством” и в заключение сообщает ему свою мечту о втором пришествии Христа и о неизбежном прощении его и ему подобных потому, что они сами не считают себя достойными прощения. При этом и они, грешные, и прочие “разумные”, которые теперь их осуждают, “все поймут”. Что же “поймут” те, кто творит зло по отношению к ближним, и те, кто это зло претерпевает? Где же в этой мармеладовской уравнительной апокалиптике место для раскаяния и покаяния? Не от этого ли – сознавая шулерское сокрытие ключевых вопросов – Мармеладов и держится “с каким-то напускным лукавством и выделанным нахальством”?

Вопросы эти имеют прямое отношение к теме “подпольного” человека, тем более, что оказывается “подпольность” – признак не только деспотов и злодеев, а универсальная человеческая черта, становящаяся характеристикой отдельной личности при определенных обстоятельствах и при определенном с ее стороны моральном попустительстве.

Приступы, а иногда и припадки “подпольности” случаются и у таких вполне достойных людей, как, например, Разумихин. Вот он сопровождает мать и сестру Раскольникова и, будучи сильно навеселе, откровенничает в отношении Лужина – жениха Авдотьи Романовны: “...А мы все давеча поняли, как он вошел, что этот человек не нашего общества. Не потому что он вошел завитой у парикмахера, не потому что он в свой ум спешил выставлять, а потому что он соглядатай и спекулянт; потому что он жид и фигляр, и это видно. Вы думаете, он умен? Нет, он дурак, дурак! Ну, пара ли он вам? ...Петр Петрович... не на благородной дороге стоит” [Достоевский 1973 V, 156]. Однако в отличие от “подпольного”, у нормального человека за приступом “подпольности” неизбежно следует осознание случившегося, раскаяние, а, возможно, и покаяние, которое с большой долей вероятности исключает подобное поведение в будущем. Впрочем, “нормальные” – редкие гости на страницах Достоевского.

Завершая краткий анализ некоторых сюжетных линий романа “Преступление и наказание”, посвященных развитию темы “подпольности”, отмечу следующее. Образ “подпольного” человека Раскольникова знаменателен в галерее героев писателя прежде всего тем, что этот персонаж попытался и успешно преодолел родовый порок более ранних “подпольных” людей. От мечтаний о мести героя “Записок из подполья”, от психологических пыток, изобретаемых и производимых Мармеладовым, поступок Раскольникова отличается в корне. В его образе “подпольный” человек пробует себя на роль властелина мира. Да, у Раскольникова “сорвалось”, “кишка оказалась тонка”, но ведь попытку он все же совершил, слово и дело соединил. И отсюда, из сырого и почти не пригодного для жизни Петербурга XIX столетия, от него, от русского студента Родиона Романовича Рас-

кольникова протянется незримая ниточка – сперва к отечественным “бомбистам”, а затем к большевикам и прочему “подполью” века XX.

Роман “Идиот” начинается ночной сценой в вагоне поезда, среди пассажиров которого главный герой князь Лев Николаевич Мышкин. В детстве князь сильно болел, был признан “идиотом” и отправлен на лечение в Швейцарию. Там он выздоровел и теперь возвращается в Россию. По тому, какие персонажи окружают князя на родине с первых шагов и как они себя ведут, ясно, что это глубоко “подпольные” люди, которые, выйдя из подвалов на поверхность земли, настолько освоились, что и ее начали превращать в родное им “подполье”. Герои эти, главные спутники дальнейших приключений князя – молодой купец Парфен Рогожин, только что получивший огромное наследство умершего отца и чиновник Лебедев.

Но если “подпольные” люди взяты Достоевским из реальности, то князь Мышкин – вымышленный образ, созданное писателем идеальное образование, конструкция из близких ему философских и моральных идей, в том числе и некоторых черт образа жизни Запада. То, что князь – пришелец, путешественник в чужой для него России, дает прекрасные возможности для объективного показа нравов страны: Мышкина с ней ничто не связывает, и он в ней ни от чего не зависит. (В дальнейшем независимое положение князя еще более усилится получением неожиданного наследства.) Князь сразу ставится Достоевским в ситуацию тесного и постоянного взаимодействия с вышедшим на свет “подпольем”. В контексте романа эта коллизия имеет несколько прочтений. Это и столкновение Западного мира с растекшимся по России “подпольем”. И противодействие христианства традиционному российскому язычеству¹¹. Это, наконец, подобие нового пришествия в мир Христа и его последняя битва с сатаной в образе Парфена Рогожина, названного брата Льва Николаевича.

Вагонный знакомец князя Рогожин – персонаж, отражающий многие черты русского человека. Он потомственный купец и потому фигура, тесно связанная с традициями страны. В то же время он уже и новый капиталист, делающий деньги в современной экономической среде. Он, наконец, необразован, темен, а по своему духовному миру и образу жизни язычник. Лебедев – тоже широко распространенный отечественный тип: чиновник из мелких, разночинец, почти социальный маргинал. Оба они – плоть от плоти России и оба, завязывая отношения с князем, представляют “подполье”, столкнувшееся с занесенным в Россию “светлым” началом. Завершает эту первоначальную личностную реконструкцию диагноз – второе имя князя – “идиот”.

Роман богат вариациями на тему подпольности. О зараженной “подпольностью” героине романа Настасье Филипповне Барашковой известно, что она еще девочкой была взята в “опеку” богачом, “членом компаний и обществ”, “сластолюбцем закоренелым, который в себе не властен” Афанасием Ивановичем Тоцким, решившим вырастить красавицу “для себя”. Однако несмотря на свое презираемое обществом положение, Настасья Филипповна сумела поставить так, что Тоцкий начал бояться этой выросшей из ребенка женщины. Какова стала эта женщина-содержанка, что сделало с ней “подполье” и в какой мере она теперь “подпольный” человек? (см.: [Достоевский 1973 VIII, 31–32]).

В предложенной романом трактовке “подпольность” – это пребывание человека в первобытном язычестве, глухота к христианству и неприятие Христа, неумение или нежелание проявлять милость к ближним и дальним, прощать, изживать в себе грязное и низменное. Это, наконец, кураж и смакование собственных подлостей, психологическая игра с ними, любование своими пороками. Все это в полной мере демонстрируют “подпольные” люди, и от всего этого терпеливо и сострадательно пытается излечить их князь – христианин и “идиот”.

“Подпольность” многогранна. Варварски-“подполен” увлеченный страстью к Настасье Филипповне Парфен Рогожин. Низменно-“подполен” сладострастник Афанасий Иванович Тоцкий. Трусливо-“подполен” водящий с ним дружбу отец семейства генерал Иван Федорович Епанчин, “человек умный и ловкий”, который, однако, на старости лет “соблазнился сам Настасьей Филипповной”. Проективно и расчетливо-“подполен” мо-

лодой человек Гаврила Ардалионович Иволгин (Ганечка), мечущийся между Настасьей Филипповной и дочерью генерала Епанчина красавицей Аглаей. На всевозможные лады “подпольна” многочисленная рогожинская бесовская “свита”.

Роман может служить своего рода хрестоматией, составленной из сюжетов – проявлений “подпольности” разного рода. Так, Тощкий, дабы быть уверенным, что в канун затеянной им выгодной женитьбы от Настасьи Филипповны не последует какой-либо неприятности, предлагает ей плату в размере семидесяти пяти тысяч “за девичий позор, в котором она не виновата”, равно как и “вознаграждение за исковерканную судьбу”. Здесь же, в этом сюжете, рассчитывающий на согласие Настасьи Филипповны выйти за него замуж Ганя, тем не менее, в качестве “страховочного” варианта, пытается заручиться положительным ответом и от Аглаи¹². Вот как он сам в связи с Настасьей Филипповной объясняет свой “расчет”:

“– Я, князь, не по расчету в этот мрак иду, – продолжал он, проговариваясь, как уязвленный в своем самолюбии молодой человек, – по расчету я бы ошибся наверно, потому и головой и характером еще не крепок. Я по страсти, по влечению иду, потому что у меня цель капитальная есть. Вы вот думаете, что я семьдесят пять тысяч получу и сейчас же карету куплю. Нет-с, я тогда третьегодний старый сюртук донашивать стану и все мои клубные знакомства брошу ...Нажив деньги, знайте, – я буду человек в высшей степени оригинальный” [Достоевский 1973 VIII, 105].

В связи с четким формулированием Ганечкой цели, отмечу, что все сколько-нибудь масштабные “подпольные” люди, начиная с Родиона Раскольников, выбираясь из мрака на свет, утверждают на поверхности посредством “капитальной”, как они полагают, цели. Для Ганечки эта цель – деньги. “На все” готов и Лебедев¹³. А Рогожин ради удовлетворения своей “подпольной” страсти готов на убийство. В сцену первого столкновения “подпольности” и христианства купец включается со своим откровенным и примитивным желанием тут же, не сходя с места, “покорить щедростью” – купить любовь Настасьи Филипповны (см.: [Достоевский 1973 VIII, 97–98]).

“Подпольные”, как правило, откровенны и даже низость свою скрывают иногда всего лишь понарошку, потому как она – низость – и есть их “оригинальность”, без которой они просто были бы серой массой.

Впрочем, Лебедев и Ганечка – не самые крупные фигуры из “подпольных”. Подлинный исполин “подпольности” в романе, что особенно отгеноено молодостью его лет, – медленно умирающий от чахотки Ипполит Терентьев. Оценка его собственной общественной значимости и способностей такова:

“– ...хотел вас спросить, господин Терентьев, правду ли я слышал, что вы того мнения, что стоит вам только четверть часа в окошко с народом поговорить, и он тотчас же с вами во всем согласится и тотчас же за вами пойдет?”

– Очень может быть, что говорил... – ответил Ипполит, как бы что-то припоминая. – Непременно говорил!” [Достоевский 1973 VIII, 244–245].

“Подпольный” не может не сознавать спрятанные в действительности великие силы, которым он не может противостоять со своими претензиями на истину и величие. Эта реальность беспощадно смеется над ним. И Ипполит не может ей этого простить. Так же он не может простить и престать ненавидеть своего злейшего врага князя. Князь не заблуждается относительно “подпольного” ни в чем – видит его мерзость, но, что наиболее нестерпимо для “подпольных”, все равно прощает. Именно прощение, невозможное без адекватного понимания и возвышение прощающего над прощаемым, а значит, и лишение “подпольных” “оригинальности” – самый тяжкий удар по их самолюбию и мечтам о господстве над людьми и миром. Этого – их низведения до ранга обыкновенных ничтожеств “подпольные” перенести не в силах (см.: [Достоевский 1973 VIII, 249]).

Отчего “подпольные” ищут “оригинальности”? Причина – жажда отличиться “чем бог послал”, хотя бы и низостью – лишь одна часть объяснения. Другая же – в их органическом стремлении не быть похожими, в том числе и на людей “практических”, то есть имеющих положение и состояние. Чахоточный Ипполит, уже фактом своей болезни поставленный в исключительно удобное для откровенности положение (он знает, что скоро

умрет, знает, что к нему испытывают сострадание и многое за его положение прощают), в пересказе одного из своих снов дает зримое представление, которое может служить образом “подпольности” – встречу с отвратительным чудовищем, походящим на скорпиона, нарочно являющимся Терентьеву (см.: [Достоевский 1973 VIII, 323–324]).

Сознавая, что в нем есть много грязного, но, тем не менее, не желая признавать это, Ипполит исключает для себя возможность самоочищения. Забегая несколько вперед, отмечу, что, по Достоевскому, поступая так, Ипполит, тем самым отвергает христианский путь. Путь этот – всеобщее признание каждым собственной вины перед другими, взаимное покаяние и прощение всех всеми. В рассказе у Ипполита – в насмешку над этим идеалом написано: я “...мечтал, что все они вдруг растопырят руки, и примут меня в свои объятия, и попросят у меня в чем-то прощения, а я у них; одним словом, я кончил как бездарный дурак” [Достоевский 1973 VIII, 325].

Чтобы не выглядеть “дураком”, Ипполит избирает другой выход – пытается публично застрелиться. Роман не дает однозначного ответа на вопрос, действительно ли Ипполит забыл положить капсулю или только имитировал попытку самоубийства. Это, однако, не важно, поскольку несостоявшимся поступком Ипполит еще раз подтверждает одну из характерных черт “подпольных” вообще – их способность в чем-то мелком соединять “слово” и “дело”, но в крупном – неготовность идти до конца. Естественное подтверждение этого качества обнаруживает, как помним, и Раскольников, не сумевший в убийстве “до конца” сделать все “как надо”, то есть и дверь запереть, и деньги, а не безделушки из комода взять, и не раскататься. Трагедия Раскольникова – та же, что и Ипполита, не сумевшего застрелиться взаправду. Это трагедия мелкого беса, страдающего, что не выдержал испытания, не дорос до ранга беса значительного.

Боязнь быть ординарным, “серым” – это чувство, похоже, преследует всех “подпольных”. Вот и Ипполит высказывает об этом Гане, совершенно сознавая, что и сам такой же “серый”, и ненавидя Ганю за то, что он этим своим качеством ему, Ипполиту, постоянно напоминает о нем. “Ненавижу я вас, Гаврила Ардалионович, единственно за то, – вам это, может быть, покажется удивительным, – *единственно за то*, что вы тип и воплощение, олицетворение и верх самой наглой, самой самодовольной, самой пошлой и гадкой ординарности! Вы ординарность напыщенная, ординарность несомневающаяся и олимпийски успокоенная; вы рутина из рутин!” [Достоевский 1973 VIII, 399].

Пожалуй, одно из самых любимых дел “подпольных” – выискивание черт “подпольности” у других, нормальных людей и способствование их развитию в полноценных “подпольных”. Иными словами – низведение сколько-нибудь оскотлившегося в грязь человека на самое глубокое место в грязной луже, чтобы получить грязью замарать. В этом ключе – попытки Ипполита свести, “соединить” Аглаю с Настасьей Филипповной. В этом – “игра” Лебедева с генералом Иволгиным, укравшим у него бумажник, а затем, устыдившимся своего поступка и подбросившего его назад хозяину¹².

Термин “подпольность”, придуманный Достоевским для обозначения феномена “русского большинства” – низменных структур сознания и подсознания человека, равно как и для обозначения особой духовной структуры людей точен и образен. Это характеристика тех людей, внутренний мир которых в существенной степени состоит из грязного и низменного. И живут они если и не собственно в “подполье”, то в подвале или на таком, как Раскольников, чердаке, который иного подвала хуже. “Подпольные” люди серые. У них серые от недостатка солнца лица и серые от недостатка “оригинальности”, хотя, порой, и изощренные, мысли. Их “подполье” – не сам ад, но его земное преддверие – грязная прихожая ремонтируемой квартиры, в которой прятался Раскольников после убийства; ниша под лестницей, в которой притаился Рогожин, подстерегающий с ножом князя; сам рогожинский дом с наглухо задернутыми тяжелыми шторами окнами; его спальня, на кровати которой лежит труп Настасьи Филипповны; каморка Ипполита; дача Лебедева.

Вторично явившийся на землю князь – Христос сходит с ума от вида бесконечных битв между собой зараженных “подпольностью” его любимых чад. На вывороченной на-

изнанку “подпольной” земле сатана одерживает легкую победу, даже не вводя в действие своих основных сил. Ему не нужны новые талейраны и наполеоны. Довольно и того, что начали действовать, сводить воедино “слово” и “дело” заурядные, вышедшие из “подполья” люди, коим несть числа.

В итоге, завершая разговор о мировоззрении Ф.М. Достоевского и центральной фигуре его творчества “подпольном” человеке, приведу емкие слова В. Шкловского, написанные по поводу самого Ф.М. в связи с его похоронами: “Все концы, которых при жизни не мог свести Достоевский, были спрятаны в могилу, засыпаны цветами и глиной и прикрыты гранитным памятником. <...> Так умер Достоевский, ничего не решив, избегая развязок и не примиряясь со стеной. Он видел угнетенного человека, извращенные страсти, предчувствовал приближение конца старого мира и мечтал о золотом веке и сбился в мечте” [Шкловский 1957, 258].

Подпольный человек умер. Да здравствует “подпольный” человек?

ЛИТЕРАТУРА

- Бердяев 2006 – *Бердяев Н.А.* Миросозерцание Достоевского. М.: Хранитель, 2006.
- Громова 2000 – *Громова Н.А.* Достоевский. Документы, дневники, письма, мемуары, отзывы литературных критиков и философов. М.: Аграф, 2000.
- Достоевский 1973 V – *Достоевский Ф.М.* Примечания / *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1972–1988.
- Достоевский 1973 VIII – *Достоевский Ф.М.* Идиот / *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1972–1988.
- Достоевский 1976 XVI – *Достоевский Ф.М.* Подросток. *Рукописные редакции.* Подготовительные материалы. (Заметки, планы, наброски. Январь – ноябрь 1875) / *Достоевский Ф.М.* Полн. собр. соч.: в 30 т. Л.: Наука. Ленинградское отделение, 1972–1988.
- Кантор 2010 – *Кантор В.К.* “Судить божью тварь”. Пророческий пафос Достоевского: очерки. М.: РОССПЭН, 2010.
- Мережковский 1914 – Мережковский Д.С. Исследование. Л. Толстой и Достоевский: Религия / Полн. собр. соч. Т. XI. СПб. М.: Изд. М.О. Вольф, 1914.
- Соколов 2007 – *Соколов Б.В.* Расшифрованный Достоевский. М.: Эксмо, Яуза, 2007.
- Степун 2000 – *Степун Ф.А.* Бывшее и несбывшееся. СПб.: Алетей, 2000.
- Туниманов 1980 – *Туниманов В.А.* Творчество Достоевского. 1854–1862. Л.: Наука, 1980.
- Шестов 2001 – *Шестов Л.И.* Достоевский и Ницше. Философия трагедии. М.: Аст, 2001.
- Шкловский 1957 – *Шкловский В.Б.* За и против. Заметки о Достоевском. М.: Советский писатель, 1957.

Примечания

¹ Статья подготовлена в рамках проекта РГНФ “Российское самосознание в видении отечественной философии и литературы накануне и после Октября” № 110300133а. В связи с темой “подпольности” рассматривается повесть “Записки из подполья” (1864), рассказ “Крокодил” (1865), романы “Преступление и наказание” (1866) и “Идиот” (1869).

² Публикация первых глав “Преступления и наказания” совпала с убийством, совершенным московским студентом А.М. Даниловым ростовщика Попова и его служанки. Спустя несколько месяцев студент Д.В. Каракозов стрелял в Александра II, а дело “нечаевцев” об убийстве студента И.И. Иванова совпало с выходом романа “Бесы”.

³ Подросток Федя, по воспоминаниям родственников, не любил младшего брата и сестру, боялся отца. Родитель, врач больницы для бедных, страдавший эпилепсией, постоянно ревновал жену, а после ее смерти вышел в отставку и уехал в купленное имение, где бесчинствовал столь изрядно, что в конце концов был убит собственными крестьянами, учинившими самосуд. Будущему писателю в это время было 18, что означает, что пик папашиных “похождений” приходился на период подросткового взросления.

⁴ Азартные игры и кутежи случались весьма часто.

⁵ В 1847 г. Достоевский вошел в кружок Петрашевского, но вскоре присоединился к его более радикальному ответвлению под водительством Дурова. Здесь обсуждались идеи освобождения кре-

стьянства, “хотя бы путем восстания”. Весной 1849 г. последовал арест кружковцев, Достоевского в том числе.

⁶ Жившая в Сибири француженка по происхождению Мария Дмитриевна Исаева, вдова, от первого брака имела детей, была истерична и больна туберкулезом. Вскоре после женитьбы их жизнь с Достоевским сделалась мучением.

⁷ Идейно-тематическое “пересечение” Чернышевского и Достоевского в их произведениях уже имело место ранее. Вспомним о “любовных треугольниках” героев “Что делать?” – реально обсуждавшегося треугольника “Вера – Лопахин – Кирсанов” и гипотетического треугольника героев “Униженных и оскорбленных” – “Наташа – Иван Петрович – Алеша”. Однако в этих предметах более всего интересно не их художественное разрешение, а позиция их творцов. А поскольку на эту коллизию обратил внимание известный литературовед В.А. Туниманов, то ему слово. “С точки зрения Чернышевского и Рахметова, такой мирный союз (Жизнь втроем. – С.Н.) был бы наилучшим разрешением проблемы, но он является вызовом лицемерному (Так у автора. – С.Н.) обществу и ветхозаветной морали, которая еще имеет власть над разумными эгоистами, сравнительно недавно распроставшимися с “подвалом” и духовно еще не до конца свободными. Идеальный союз, как явствует из одного интереснейшего замысла Чернышевского, возможен лишь на необитаемом острове, а не в современном обществе. По Достоевскому, такое гармоническое общество вообще немислимо, ибо противоречит вечным законам человеческой природы; оно возможно не для эгоистического современного человека, а для существа неземного, бесполого, чуждого ревности и сладострастия” [Туниманов 1980, 266]. Чья точка зрения и связанные с нею мировоззренческие пласты ближе к действительности – конструктора “светлого будущего” или певца “подполья” – судить читателю.

⁸ Думаю, что наряду с писательским талантом, может быть не менее существенной причиной признания и известности Достоевского в мировой культуре было именно это – обнаружение им чего-то универсального, что свойственно людям вообще.

⁹ По оценке Мережковского, “град Петра” и в XX в. являл собой «не только “самый фантастический”, но и самый прозаический из всех городов земного шара. Рядом с ужасом бреда – не меньший ужас действительности» [Мережковский 1914, 136].

¹⁰ “Очень часто идеологическая нерешенность темы, сомнения писателя заставляют автора в конце или отсылать читателя к следующим романам, к следующим частям, которые он не напишет (так не написал Толстой истории Нехлюдова, хотя и обещал это сделать), иногда же давать ироническую оценку конца. ... Про эпилоги писал Теккерей, что в них писатель наносит удары, от которых никому не больно, и выдает деньги, на которые ничего нельзя купить” [Шкловский 1957, 176].

¹¹ Впрочем, у России и Европы были и общие проблемы, что, в частности, основательно анализируется В.К. Кантором в его монографии (см.: [Кантор 2010, 76–77]).

¹² Редкий для Достоевского случай – прямого разоблачения “подпольности” демонстрирует в силу своего характера Аглая, когда объясняет князю уловку Ганечки: “... У него душа грязная; он знает и не решается, он знает и все-таки гарантии просит. Он на веру решиться не в состоянии. Он хочет, чтоб я ему, взамен ста тысяч, на себя надежду дала. Насчет же прежнего слова, про которое он говорит в записке и которое будто бы озарило его жизнь, то он нагло лжет. Я просто раз пожалела его. Но он дерзок и бесстыден: у него тотчас же мелькнула тогда мысль о возможности надежды; я это тотчас же поняла. С тех пор он стал меня улавливать; ловит и теперь” [Достоевский 1973 VIII, 72].

¹³ При этом “подпольный” Лебедев убежден, что “рожден Талейраном и неизвестно каким образом остался лишь Лебедевым” [Достоевский 1973 VIII, 487].

¹⁴ Вспомним, что генерал сперва кладет бумажник под стул, на котором висел сюртук, будто бумажник просто выпал из кармана, а затем, когда Лебедев сделал вид, что бумажника “не видит”, засовывает его под подкладку лебедевского сюртука, предварительно ножичком прорезав карман, чего Лебедев так же “не замечает” и даже выставляет “незамеченную” полу сюртука генералу на обозрение.